Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Воскресшие Лазари Полины Барсковой

16.01.2025.



Полина Барскова (DR)

Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Полины Барсковой «Живые картины», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Автор этих строк ничего – mea culpa ! – не знала о Полине Барсковой, пока не получила, незадолго до официального выхода, гранки французского перевода «Живых картин», о котором и пойдет речь. Среди прочего. Французское издание с Оглавлением в конце, на русский лад. Как всегда в таких случаях, решила сначала ознакомиться с оригиналом – в России книга вышла еще в 2014 году, в петербургском Издательстве Ивана Лимбаха. Прочитала приведенные отзывы – восторженные! –

четырех уважаемых людей. И дошла, наконец, до сути. До первого текста, названного отсутствующим в словаре русского языка словом «Прощатель». И уже после нескольких первых параграфов, радостно улыбнувшись греческому хору, Морозко и клодтовскому коню, поняла, что этот прозаический текст писал(а) поэт – не поднимается рука феминизировать звание. Загуглив, выяснила, что так и есть.

Прочитала залпом, за один вечер, все 172 страницы, то и дело задаваясь/мучаясь вопросом: как же это можно перевести, как можно донести до не просто инакоговорящего, но инакодумающего и чувствующего, инако проживающего свою жизнь читателя? Как объяснить иностранцу значимость Евгения Шварца? Как влюбить в героев? Как перевести отдельные слова и выражения – например, «рыжая ражая рыхлая остроумная женщина», вот именно так, без запятых? Оказывается, можно: получается «une femme rousse rageuse spirituelle aux chairs molles». Тоже без запятых, но… Как перевести/донести эту нежную словесную музыку, хрупкую, словно первый лед на Неве, тонкую на вид, словно кружево, но стальнопрочную, как сеть паука, затягивающую муху-читательницу в свои хитросплетенные сети и сжимающую ей горло до тех пор, пока слезы не выступят. А не выступить они не могут. Не может слёзная жидкость, скопившаяся в нижнем конъюнктивальном мешке и слёзном озере, не перелиться через ресничный край нижнего века… Книга Полины Барсковой, при всем многообразии персонажей и сюжетных линий, имеет четкий лейтмотив: родной для автора Ленинград с его героическим и трагическим прошлым, с рожденными, взращёнными и поглощенными им людьми. Эту книгу надо читать осторожно, на цыпочках, придерживая кончиками пальцев, чтобы не уронить, не расплескать, не просыпать.

В таких раздумьях прошла ночь, а наутро я поняла, что ответы на вопросы надо искать у первоисточника. Нашла Полину Барскову в соцсетях и несмотря на поздний, за 23, час в Беркли, где она живет и преподает в Университете Калифорнии, получила немедленный ответ с готовностью к разговору. Через день мы поговорили.

Полина, до того, как появиться на французском, Ваша книга вышла на немецком и английском. Английским Вы, понятное дело, владеете. А немецким? Могли ли как-то участвовать в процессе?

Я совсем не владею немецким и очень плохо – французским, но в таких случаях я доверяюсь переводчикам. Я с ними много общаюсь, они задают мне очень много вопросов, но вообще судьба и стремление писателя – быть переведенным на такие языки, которыми ты не владеешь. Ты отпускаешь от себя книжки, и они живут своей жизнью.

Как проходила Ваша работа с французской переводчицей Марианной Гург-Антушевич? Вы разговаривали? Встречались?

Не встречались. Она задавала мне много вопросов – интересных: про историю, про язык. В моей прозе много цитат из литературы, поскольку я сама просто из литературы состою, и на эту тему Марианна тоже много спрашивала. Вообще, одна из наиболее интересующих меня частей этого процесса – это наблюдение за тем, как переводчики задают совершенно разные вопросы.

Можете ли Вы привести какой-то пример вопроса, который Вас порадовал

или удивил?

Конкретный пример сейчас не припомню, но Марианна Гург-Антушевич много работала с русским модернизмом, что для меня очень важно – важно понимать, что переводчик живет в том же мире литературы, в котором живу я. Я была тронута степенью ее подробности и реактивности, вхождения во все эти переплетения, отзвуки и так далее…

Было ли в других изданиях столько же комментариев переводчиков, сколько во французском – ведь здесь их по несколько на каждой странице? Что и нормально, на мой взгляд, так как очень многое нуждается в расшифровке.

Нет, в американском издании меньше комментариев. Американского читателя не научной литературы не надо слишком утомлять комментариями, он этого не любит. С этим можно соглашаться или нет, но это так. Вообще мы знаем, что в Америке переводной литературы сравнительно мало, и это – проблема, о которой мы много думаем и говорим. Поэтому, чтобы выпустить на американский рынок и без того причудливую книжицу, издатель старался не запугать читателя еще и комментариями. Как мне объяснили, французский читатель смелее. По идее, подобную книжечку может купить читатель, уже как-то связанный с разными мирами литературы, а потому более любопытный. Ведь речь всегда идет о любопытстве, о желании входить в мир, с которым ты не обязательно знаком.

А не кажется ли Вам, что и в русском издании не помешали бы примечания/пояснения? Думаете, каждый современный россиянин знает, кто такой Харон или Паблито или что братья Друскины – не вымышленные Вами персонажи?

Это замечательный вопрос и очень актуальный. Мой российский издатель Ирина Кравцова, руководящая издательством Ивана Лимбаха, рассчитывает на читателя, который в состоянии и в желании сам узнавать, кто такой Харон. Но вообще это совершенно не очевидный для меня вопрос, а решение принадлежит каждому издателю, который каждый раз определяет судьбу книги: для кого она? Кто ее читатель?

В «Живых картинах» столкнулись многие ранее не известные истории. И в этой провокации – один из смыслов этой прозы: я пытаюсь рассказывать истории, о которых каждый читатель думает, что что-то знает. Но потом выясняется, что, по сути, не знает ничего. И это для меня – один из главных двигателей: понять, как ты мало знаешь и отчаянно начать узнавать.

Сейчас в моде что попроще. А Ваша книга не проста ни по содержанию, ни по форме – например, периодически исчезают знаки препинания. Это сознательный риск: не опускаться до уровня читателя, а заставлять его карабкаться за собой, залезать в Гугл, или Вы думаете, что «Ваш» читатель Вас поймет, или это просто так получилось?

В каком-то смысле я бы сказала, что все предложенные Вами версии верны. Я работаю со своим воображением, со своими фантазиями, интонациями. Но поскольку я всю жизнь преподаю, моя опыт показывает, что на самом деле существуют очень амбициозные читатели. С момента выхода по-русски «Живых картин», я встречала немало читателей этой книги, которые находили в себе силы входить в нее. Знаете, в Америке каждый раз в начале семестра я спрашиваю своих новых аспирантов, какая

их любимая книгу русского модернизма. Чаще всего слышу в ответ: «Петербург» Андрея Белого. И каждый раз меня это удивляет: вроде бы такая сложная книга, о таких далеких событиях… Читателя не надо недооценивать, читатели ведь разные. Наверно, моя книжка рассчитана не на совсем массового читателя, но на достаточно значительное количество людей, которым интересна традиция модернизма.

В какой-то момент в «Прощателе» Вы пишите: «Главное – противостоять времени: время будет давать на тебя. Смысл всей затеи – не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несешь себе, в себе». Почему Вас – молодую, талантливую, успешную женщину – не отпускает тема прошлого вообще и тема блокады Ленинграда в частности? Причем у читателя вовсе не создается впечатление, что это прошлое – для Вас чужое или что оно на Вас давит.

*Когда я стала узнавать больше о персонажах пьесы «Живые картины», они стали мне невероятно симпатичны, я совершенно увлеклась этими яркими, сложными, остроумными людьми. Как удивительно было бы с ними общаться! Потом я поняла, что выпало на их долю, какая абсолютная катастрофа произошла с этими любителями литературы, любителями искусства, любителями любви. Ведь это очень близкие нам люди – смелые, смешные…*Замечательный вопрос. На каком-то уровне это вопрос моей личности, моего темперамента, но это в самом деле так. Разные моменты прошлого оказываются для меня очень близки. В советском прошлом 20 века оказывались такие же люди, как мы, иногда в совершенно нечеловеческих ситуациях. Когда я стала узнавать больше о персонажах пьесы «Живые картины», они стали мне невероятно симпатичны, я совершенно увлеклась этими яркими, сложными, остроумными людьми. Как удивительно было бы с ними общаться! Потом я поняла, что выпало на их долю, какая абсолютная катастрофа произошла с этими любителями литературы, любителями искусства, любителями любви. Ведь это очень близкие нам люди – смелые, смешные… И вдруг случается история, которая – как говорят в Америке и как мне нравится говорить – «тебя исчезает», которая предает тебя исчезновению. И так мне тяжело оттого, что мои пленительные персонажи исчезают и не могут сопротивляться!

*Историческое молчание – вещь не только тревожная, но и опасная. Придет новая волна автократии и заполнит молчание пропагандой. И вместо живых, прелестных, сложных людей мы получим простые и ложные пропагандистские послания.*Молодой талантливый влюбленный художник ничего не может противопоставить блокаде, советской власти… Ощущение невероятной исторической несправедливости меня гложет. К тому же мы же видим повторение истории, и то, что происходит сейчас, это очередной чудовищный виток. Очень много из того, что путинская пропаганда сегодня рассказывает и навязывает, во многом связано с серыми зонами в истории, с тем, о чем не хотели ни говорить, ни думать. Я писала пьесу еще до начала нынешнего бедствия, и уже тогда меня тревожило молчание. А сейчас выясняется, что историческое молчание – вещь не только тревожная, но и опасная. Придет новая волна автократии и заполнит молчание пропагандой. И вместо живых, прелестных, сложных людей мы получим простые и ложные пропагандистские послания. Рассказ об этих людях для меня – попытка сопротивляться тому, что навязывает государство, тому, что ему сегодня выгодно.

Питер Пауль Рубенс. Воскрешение Лазаря, 1606 г.

Вы пишете о мертвых. Но пишете так, словно знали их всех лично. А может, действительно, удалось еще застать кого-то из персонажей? Или пообщаться с потомками?

Самих персонажей, о которых идет речь в этой книжке, я не застала. Но разговаривала с теми, кто пережил блокаду – на тот момент им было уже под девяносто. Я познакомилась с удивительными людьми, ставшими важными знакомствами в моей жизни. Очень увлеклась одной женщиной и как-то позвонила ей, а она не взяла трубку. Я испугалась, хотя она, как выяснилось, просто простудилась. Когда я к ней прибежала, она сказала: «Деточка, если я не умерла тогда, в 41-м, то зачем же мне вообще умирать?» Эта фраза меня поразила, дав понять, что эти люди оказались в особых отношениях с историей. В русском языке нет точного аналога английскому survivor. Выжившие, пережившие – не совсем то же самое.

Все мои книги – не очень большие, они скорее густые. Все они, для меня, – про невероятных людей, которых я встречаю в истории и которыми увлекаюсь. Меня часто спрашивают, как я вообще могу заниматься блокадной темой, ведь это так чудовищно страшно и тяжело. А я отвечаю: когда я этим занимаюсь, то там, в истории я встречаю пленительных людей, с которыми мне хочется все время быть, разговаривать, от которых мне взгляда не хочется отводить. Но для того, чтобы их встретить, мне нужно идти туда.

Как известно, среди приличных людей принято говорить о покойниках либо хорошо, либо никак. В том, что Вы приличный человек, сомневаться не приходится. Но Вы сумели создать портреты людей, показав не только их милые чудачества, но порой и очень серьезные недостатки, моральные изъяны, лишающие их привлекательности. Думали ли Вы об этом, когда писали?

Да, я думала об этом, когда писала. Поскольку писала я долго и в процессе письма давала читать написанное, то мне об этом говорили, и мне очень нравится, что Вы это заметили. Для меня это очень важная, личная и противоречивая часть того, что я делаю. Мне кажется, что, когда мы начинаем говорить о ком-то только хорошее, прерывается наша связь с этим человеком, он становится не настоящим, ведь все мы разные, сложные. Из сложностей и состоит человек. Если о человеке говорить только, какой он прекрасный, умилительный и приличный, значит, он уже уходит из живых. А для меня моя амбициозная задача – попытаться на время чтения книги сделать моих героев и антигероев живыми. Чтобы мой читатель испытывал к ним такие же сильные и сложные чувства, какие испытываю я в процессе письма. На многие вопросы, с которыми я сталкиваюсь в процессе письма, у меня нет ответов, и я не притворяюсь, что они у меня есть.

Например, у меня были большие сложности с моей героиней Антониной Изергиной, специалистом по французскому импрессионизму в Эрмитаже, женщиной невероятно смелой. И вот такая женщина, хранитель музея не смогла сохранить архив своего возлюбленного, любви своей жизни – Моисея Ваксера. Это кажется мне парадоксом, а ответ в том, что происходит с людьми, когда в них врезается История. Картинка, которую дала советская власть и продолжает давать путинская, и которая показывает, что человек в отношениях с Историей становится героем, неверна. Человек в отношениях с Историей остается человеком, со всеми своими слабостями. Никто не становится сильнее от того, что ему делают больно. Мне кажется важным

об этом говорить. По-русски об этом писали удивительные люди: Шаломов, Чуковская, Евгения Гинзбург… Так что в мире русской литературы у меня есть замечательные учителя, которые говорят, как больно человеку быть в Истории.

Еще одно сделанное Вами отступление от правил – это рассказ с юмором о страшном. Начиная со стихов о дистрофике, написанных в 1941 году шестилетней блокадницей Катей, до невероятных, до в голос хохота реплик уже упомянутых «девственного Моисея» – умершего от дистрофии в стационаре Академии художеств в 1942 году художника Моисея Борисовича Ваксера – и искусствоведа Антонины Изергиной. Все бывавшие в Эрмитаже люди наверняка обращали внимание на знаменитую фотографию одного из его залов во время войны – с пустыми рамами: картины вывезли, спрятали. А вот о том, что некоторые сотрудники остались, знают немногие. Как Вам пришла идея рассказать о них вообще и что уберегло от лубочного пафоса?

Одно из главных моих желаний – это сопротивляться пафосу. Что может помочь в этом? Смех. Мне отчасти помогало то, что я находилась в городе, где еще были люди, знавшие Антонину, бывшую ярким городским персонажем, обращавшим на себя внимания. Она была, в советском контексте, «плохой девочкой» по определению, что, конечно, было мне очень симпатично. Она спорила со Ждановым, выбирала «не тех» возлюбленных, говорила по-французски и ругалась матом. Она была знаменитой остроумицей, Оскаром Уайльдом в юбке, изо всех сил создававшей в себе идею не антисоветского, но асоветского, не советского и хранившей в себе свободу. Одна из главных идей этой пьесы для меня – рассказать о людях, которые в советской ситуации быть свободными. Мне кажется, сейчас это снова очень актуально.

*Одно из главных противоречий – попытка совместить трагичное и смешное. Во все самые страшные времена человек пытался поддерживать себя смехом. В нацистских лагерях, в гетто были кабаре. Ленинградские дневники, которые стали частью моей работы, полны иронии, они поражают остроумием, сохранением человеческого достоинства. Их авторы пытались не впадать в пафос, в то время как власть стремилась превратить в пафос всё. Они пытались отличаться друг от друга, не сливаясь с коллективным. Смех для меня – очень важная часть их стремления оставаться живыми.*Мы – писатели, историки, журналисты – можем сопротивляться хорошо организованному забвению, в частности многолетнему вымыванию блокадной памяти. Человеческая природа так устроена, что нам интереснее всего – про таких, как мы. И когда ты наталкиваешься на кого-то, кто становится тебе остро интересен, то удается растопить мертвящий жирок пропагандистских конструкций и увидеть людей во всех их противоречиях. Одно из главных противоречий – попытка совместить трагичное и смешное. Во все самые страшные времена человек пытался поддерживать себя смехом. В нацистских лагерях, в гетто были кабаре. Ленинградские дневники, которые стали частью моей работы, полны иронии, они поражают остроумием, сохранением человеческого достоинства. Их авторы пытались не впадать в пафос, в то время как власть стремилась превратить в пафос всё. Они пытались отличаться друг от друга, не сливаясь с коллективным. Смех для меня – очень важная часть их стремления оставаться живыми.

Если я правильно поняла, суть Вашего литературного замысла озвучивает именно Моисей Ваксер, ведущий дневник, «чтобы потом никто про нас не сказал, что это было как-то там, как им потом захочется». Важнейшие слова

на фоне непрерывного процесса переписывания истории. В 2016 году, вскоре после того, как за «Живые картины» Вы получили Премию Андрея Белого, пьеса была поставлена в московском Театре Наций. Остались ли Вы довольны постановкой?

Кажется, все это было в другой жизни. Та постановка была для меня абсолютным потрясением. По природе своей я – поэт, и это принципиально важно, поскольку поэт думает по-другому, устроен по-другому. Увидеть своих персонажей воплощенными на сцене было … невероятно, ведь эта была реализация моего намерения: я хотела, чтобы они еще немножко побыли живыми, ведь их смерть, гибель так меня возмутила! Замечательные актеры играли любовников, но Алла Покровская, игравшая смотрительницу Эрмитажа, которая начинает рассказывать матросам о том, что было в опустевших рамах, стала настоящим потрясением, это было другое измерение. Она показала измененное блокадой человеческое существо. Меня тогда все время снимали, а я все время рыдала – от того, что на два часа спектакля мои герои не исчезли.

Рассказывая о других людях, реальных людях, Вы рассказываете и о собственной жизни, причем о самых личных, интимных, болезненных ее моментах. Не страшно так обнажаться, ведь народ нынче озлобленный?

Мой опыт показывает, что во что веришь, то немножечко и случится. После моего интервью с Катериной Гордеевой я отважилась начать читать комментарии, будучи готовой ко всему. Первая тысяча комментариев потрясла меня великодушием людей. Потом проснулись черносотенцы и подключился вечный антисемитизм в чистом виде – им от одного моего лица становилось нехорошо. Но множество людей начали писать мне о своих личных историях, и я была потрясена. Если ты уважаешь своих персонажей, то, в моем опыте, люди показывают, что они хотят и умеют слышать. Это открытие стало для меня очень важным знанием. А Ваш вопрос – совершенно правильный и справедливый. Действительно, можно ожидать, чего угодно. Но если набраться смелости и ожидать лучшего, то оно к тебе приходит.

Полина Барскова

Что именно Вы преподаете в Университете Беркли?

Я преподаю русскую литературу, в основном под соусом двадцатого века. Я специалист по модернизму, по советской литературе, всю жизнь этим занималась. Но сейчас все меняется. Когда после начала войны в Украине я должна была преподавать бесконечно любимую мною повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна», которую до этого преподавала двадцать лет, то вдруг не смогла: я должна была выйти из аудитории, чтобы прийти в себя. Ведь стало ясно, что повесть – про сегодня. Про вернувшиеся доносы, молчание, страх.

Ваши коллеги с русского отделения Женевского университета жалуются, что интерес к русскому языку и литературе падает, что студентов все меньше. А как с этим у Вас, в Калифорнии?

Это общая проблема, касающаяся не только русского или украинского языка, но интереса к гуманитарному знанию как таковому. Рядом с Беркли – Силиконовая долина и искусственный интеллект. Но когда молодые люди, которые потом будут,

конечно, заниматься ИИ, оказываются в моих классах – будь это Достоевский или Булгаков – я вижу невероятный отклик. А состав студентов самый смешанный, очень многие не имеют отношения к России. Для меня опыт русской литературы – это постоянный опыт переосмысления отношения с постоянно давящим государством. И это не перестает быть интересным и важным.

Я пытаюсь быть открытой к диалогу, к дискуссии настолько, насколько этого хочет мой собеседник – студент, аспирант. Также пытаюсь понять издалека, что происходит в России. Вообще, вопрос понимания издалека оказался одним из главных для меня вопросов: понимать издалека во времени, как с блокадой, в пространстве. «Оно» вроде и далеко, а трогает тебя самым непосредственным образом.

Традиционный заключительный вопрос: над чем Вы сейчас работаете?

Сейчас я жду выхода новой книги – уже подписан контракт с Издательством Ивана Лимбаха. Эта книга – еще одна попытка понимать издалека. Она – на каком-то самом простом, поверхностном уровне – про разлуку со своим городом, со своим миром. Но там по крайней мере двойной нарратив. Это история про первую художницу Петербурга, голландку по имени Доротея Мериан, дочь знаменитой Сибиллы Мериан – художницы, путешественницы и энтомолога: она открыла явление метаморфоза у животных. А ее дочь в 1718 году, по велению Петра Первого, оказалась в Петербурге и была среди группы людей, отвечавших за то, как выглядит кунсткамера. И еще много чего прекрасного сделала эта женщина, о которой в общем-то никто ничего не знает. Я связываю ее историю со своей историей отъезда. А вообще меня интересуют истории, о которых, как мне кажется, люди должны знать. Ведь удивительно, как ловко забвение все пожирает, сколь многое от нас прячется. Во мне живет сопротивление забвению, незнанию, которое мною и движет.

современная русская литература
русская литература на французском языке

Source URL: *https://rusaccent.ch/blogpost/les-lazares-ressuscites-de-polina-barskova*